



В. В. РОЗАНОВ

<О Вл. Соловьеве>

ИЗ «УЕДИНЕННОГО»

В С-ве то только интересное, что «бесенок сидел у него на плече» (в Балтийском море)¹. Об этом стоило поговорить. Загадочна и *глубока* его тоска; то, *о чем он молчал*. А слова, *написанное* — все самая обыкновенная журналистика («бранделясы»).

Он нес перед собою свою *гордость*. И она была — *ничто*. Лучшее в себе, *грусть*, — он о ней промолчал.

ИЗ «ОПАВШИХ ЛИСТЬЕВ»

Не понимаю, почему я особенно не люблю Толстого, Соловьева и Рачинского¹. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю самой души. Пытая, кажется, я нахожу главный источник, по крайней мере, *холодности* и какого-то безучастия к ним — (странно сказать) в «сословном разделении».

Соловьев если не был аристократ, то все равно был в «славе» (в «излишней славе»). Мне твердо известно, что тут — не зависть («мне все равно»). Но, говоря с Рачинским об *одних мыслях* и будучи *одних взглядов* (на церковн. школу), я помню, что все им говоримое было мне *чужое*; и то же — с Соловьевым, то же — с Толстым. Я мог ими всеми тремя *любоваться* (и любовался), ценить их деятельность (и ценил), но никогда их почему-то не мог любить, не только много, но и ни капельки. Последняя собака, раздавленная трамваем, вызвала большее движение души, чем их «философия и публицистика» (устно). Эта «раздавленная собака», пожалуй, кое-что объясняет. Во всех трех не было абсо-

лютно никакой «раздавленности», напротив, сами они весьма и весьма «давили» (полемика, враги и пр.).

Перечитал свою статью о Леонтьеве (сборник в память его)². Не нравится. В ней есть *тайная* пошлость, заключающаяся в том, что, говоря о *другом* и притом *любимом* человеке, я должен был говорить о нем, не прибавляя «и себя». А я прибавлял. Это так молодо, мелочно, — говорит о нелюбви моей к покойному, тогда как я его любил и люблю. Но — как вдова, которая «все-таки посмотрелась в зеркало».

Боже, сохрани во мне это писательское целомудрие: не смотреться в зеркало.

Писатели значительные от ничтожных почти только этим отличаются: смотрятся в зеркало — *не* смотрятся в зеркало.

Соловьев не имел силы отстранить это зеркало, Леонтьев не видел его.

<...> Делянов³ сказал, когда его спросили, отчего Соловьев (Влад.) не профессор:

— У него *мысли*. <...>

<...> Вл. Соловьев написал «Смысл любви»; но ведь «смысл любви» — это естественная философская тема: но и он ни одной строчки в десяти томах «Сочин.» не посвятил разводу, девственности вступающих в брак, измене и вообще терниям и муке семьи. <...>

ИЗ «МИМОЛЕТНОГО»

Многообразный, даровитый, нельзя отрицать — даже гениальный, Влад. Соловьев едва ли может войти в философию по обилию в нем *вертящегося* начала: тогда как философия — прибежище тишины и тихих душ, спокойных, созерцательных и наслаждающихся созерцанием умов. Соловьев же весь б. шум и, нельзя отрицать, даже суeta. Самолюбие его было всепоглощающее:

какой же это философ? Он был ПИСАТЕЛЬ — с огромным влиянием литературных волнений своих, литературного темперамента — в философию. Он «вливался» в философию, как воды океана вливаются в материк заливами, губами и всяческими изгибами, и пенился, и плескался, и обмывал «философские темы» литературным языком и литературною душою.

Это еще более, нежели к философии, относится к его богословию. В нем не было *sacer*¹ и не было *sapiens*². Вот в чем дело.

В КОРНЕ — писатель, один из даровитейших, один из разностороннейших в России. Ему параллели лежат — в Пико делла Мирандоле, в Герцене. Но какая же параллель ему в Канте или в Декарте? в Беркли или в Мальбранше?

Небо философии безбурно. А у Вл. Соловьева вечный ветер. И *звезды* в этом философском небе — вечны, а «все сочинения» Влад. Соловьева были «падучие звездочки», и каждая переставала гореть почти раньше, чем вы успевали сказать «желание». Что-то мелькающее. Что-то преходящее. Потом это его желание вечно оскорблять — фуй! какой же это философ, который скорее ищет быть оскорбленным или равнодушен к оскорблению и уж никогда решительно не обидит другого. Его полемика с Данилевским, со Страховым³, с (пусть нелепыми) «российскими радикал-реалистами», с русскими богословами, с «памятью Аксакова, Каткова и Хомякова» до того чудовищна по низкому, неблагоприятному, самонадеянно-высокомерному тону, по отвратительно-газетному языку, что вызывает одно впечатление: «фуй! фуй! фуй!»

Проза его, я думаю, вся пройдет. Просто он не будет *читаться* иначе как для темы «самому написать диссертацию о Соловьеве». Но ведь так и Пико делла Мирандола «еще существует».

Но останутся вечно его стихи... Он как-то сравнил с камнями русских поэтов: помню, «Пушкин — алмаз», «Тютчев — жемчуг». Ему есть тоже какой-то самостоятельный камень, особый, ценный, хороший. «Кошачий глаз»? (очень красивый и без намеков) — топаз? аквамарин? Может быть — красивая, редкая, «настоящая персидская» бирюза? или кроваво-красный (изумруд, что ли? но он, кажется, зеленый)? Не знаю. Я хочу сказать, что в поэзии его положение *вечно и прекрасно*. Оно где-то между Тютчевым и Алексеем Толстым. Но в *некоторых* стихотворениях он даже единственно прекрасен. Между прочим, как он не благороден и не мудр в прозе, — в стихах он и благороден и мудр. Отчего — не понимаю.

Между прочим, *лично* он положил на меня впечатление какого-то *ненасытного* завидования, «ревнования» к другим и — оклеветания. Он почти не мог выносить похвалы другому или, особенно если заметит ваше тайное, «вырывающееся» лишь, восхищение к другому. Тут он, точно ножницами, «отхватывал» у вас едва вырвавшийся кусочек похвалы (о Гилярове-Платонове⁴: слова его, ужасные, если б была правда, что «он был атеист», «ни в какого Бога не верил» и «никакой религии не имел»). Единственно, где он жестко остановил меня, — было о Стасюлевиче (кого я очень не люблю), — и я почти благодарен, что он остановил меня. Иначе впечатление от него (С-ва) осталось бы во мне каким-то сплошным мраком.

Рцы⁵ незадолго до своей смерти сказал мне очень меня удивившее слово: «Я все время чувствовал его завистливым, — пока сидел с ним у вас». Удивительно. Рцы очень зорек. Сказал это он мне без моего вопроса, «сам» и как «свое».

Грусть — всегда у меня о С-ве. Я его не любил. Но что он *глубоко несчастен* и каким-то *внутренним безысходным* (иррациональным) несчастием — это было нельзя не чувствовать.

Вот уже скажешь: «Господи! успокой его смятенную душу».

Думаю: у него была частица «тайны» Гоголя и Лермонтова.

«Демоничен» он был, я думаю, в высшей степени. Это был, собственно, единственный мною встреченный человек с ясно выраженным в нем «демоническим началом». Больше я ни у кого не встречал. Все мы, русские, «обыкновенные» и «добрые». А-бы-ва-те-ли и повинующиеся г. исправнику. Вл. Соловьев в высшей степени «властей не признавал», и это было как-то метафизично у него, сверхъестественно; было как-то страшно и особенно. Михайловский⁶, например, «отрицал власти», и все «наши» вообще находятся с ним «в ап-па-зи-ции». Ну, это русское дело, русское начало, стихия русская. Дело в том и тайна в том, что Вл. Соловьев, рожденный от русского отца и матери (хохлушка) и имея такого «увесистого» брата, как Всеволод Соловьев, — был таинственным и трагическим образом совершенно не русский, не имея *даже ноты* «русского» в физическом очерке лица и фигуры. Он был как бы «подкидыш» у своих родителей, и «откуда его принесли — неведомо». Отсюда страшное отрицание «исправника». Он ничего не нес в себе от русской стихии власти и от русского врожденного и всеобщего «ощущения» власти, хотя бы и «ругаешь». — «А, ты *ругаешь* — значит, я

есмы», — говорит власть Михайловскому. Соловьеву она не могла ничего подобного сказать: он ее не видел, не знал, не осязал. Как странным образом он «не осязал» и русской земли, полей, лесов, колокольчиков, васильков, незабудок. Как будто он никогда не ел яблок и вишен. Виноград — другое дело: ел. И т. д. Станный. Страшный. Необъяснимый. Воистину — Темный.

Отсюда его *расхождения*, например, со Страховым, Данилевским, Ив. С. Аксаковым, с «памятью Киреевского и Хомякова», — имели особенный и для меня по крайней мере страшный характер. Он и когда «сходилсся», «дружил», «знакомилсся» с ними — ничего к ним ровно не чувствовал; и разойдясь — не чувствовал боли, страдания. «Крови из раны не текло». Страшным и таинственным образом (тут у него сходство с Мережковским) я не предполагаю вообще в нем бытия какой-нибудь крови, и если бы «порезать» палец ему — потекла бы сукровица, вода. А кровь? Не умею вообразить. Вот не сказал ему тогда: «Влад. Серг., если бы вам порезаться — у вас бы *не вытекло* крови». Уверен: он задрожал бы от страха (и тоски): это *главная его тайна*. Итак, он «разошелсся», — ибо никогда не был «с ними», со Страховым, Ив. Аксаковым, Катковым. «Отвалилсся — *не имея ничего общего*». Как... как... как «василек» и «дифференциальное исчисление», «минута Вечности» и «акционерная компания», как «Конец-Горбунок» и «Веданта» браминов.

Как наш Михайловский с Платоном и Аристотелем.

«И он, отвернувшись, зашагал к старому, подняв воротник», — рассказывает о Ставрогине и его дуэли с Миусовым Достоевский. Собственно, «стрелял» Миусов... А Ставрогин? — Да *его на дуэли и не было*.

Так вот Влад. Соловьев: хоть он «вел полемику» с Данилевским, Страховым, но... *его в самом деле не было тут*, крови его не было, сердца его не было. «Текли чернила и сукровица»... Да и, вообще, в Соловьеве, вот как и в Мережковском, есть какая-то странная (и страшная для меня) ирреальность. «Точно их *нет*», «точно они *не родились*». А ходят между нами привидения под псевдонимом «Соловьев», «Мережковский».

Я тут не умею выразить, «доказать» то, что чувствую с необыкновенною яркостью, упорством. В этом *суть всего*. Я как-то упоминал раз (в афоризмах), что есть странные люди (таинственные), *не оставляющие следа от себя*, физического впечатления, как бы неосязаемые, бесплотные, а только «звонящие», «говоря-

щие», спорящие и почти всегда очень талантливые. Люди «без запаха в себе» — допущу выражение. «Был»: а когда ушел — то «им не пахнет». Пожал руку — а пота его на вашей руке не оставил. «Собакевич-с — это факт». Собакевич — отвратителен: но нельзя же вовсе «без Собакевича в себе», хоть в одном мизинчике, хоть в строении кишок, хоть в чем-нибудь неприличном. Демон-Гоголь знал, что он писал, — когда писал «Собакевича»: он писал вечную, «пока мы на земле», человеческую грузность, человеческую грубость, человеческую физиологичность. «Я съел осетра». Подло. Но, пожалуй, еще подлее, ибо окончательно страшно, когда человек *ничего не ест*, ни даже — малявочки, ни одной — плотицы, ни же таракана глотает и мухи. Такой — страшен. «Без Собакевича — страшно». В Соловьеве и не было этой вечно человеческой *сути*, нашей общей, нашей простой, нашей земной и «кровянистой». Тень. Схема. «Воспоминание» о нем есть, а «присутствия его никогда не было». Это очень странно, и опять я умею только сказать, что чувствую и никак не умею доказать.

Люди не тяжеловесные. Люди, ходящие по земле и не вдавливающие в землю свою ногу. Не «воняющие» и «не пахнущие». Непременно он ездит только на извозчике, а не «ходит пешком». — «Влад. Соловьев вышел *прогуляться* и через $\frac{1}{2}$ часа будет дома» — нельзя сказать, услышать, невозможно это. Отчего? — Не знаю отчего, а — невозможно. Ровно такой будет жить «в номерах», «гостить у приятеля»: но ни к кому не станет «на хлеба». «Соловьев *харчует*ся там-то»: опять нельзя выговорить, и просто этого *не было*. «Соловьев женился», «Соловьев празднует *имянины*», «у Соловьева сегодня — *пирог*»: фу, небылицы!! Он только «касается перстами» жизни, предметов, струн, вашей шеи, ваших губ — как «дух» в «спиритическом сеансе». Уверен, что хотя «влюблены были в него многие», но он никого решительно, ни одной девушки и женщины, не «поцеловал взасос» (бывают такие) и ни одной не сказал, «прикоснувшись губами»: «*Давай — еще!!!*» Надо бы проследить, есть ли у него «восклицательные знаки» и «многоточия» — симптомы души в рукописании и печати. Очень бы любопытно. Но в литературе, я знаю, что он все «плел слова», «сшивал из страниц статьи», «силлогизировал», «делал выводы»: но не помню, чтобы раскричался в литературе, разгневался, нагрубил, наговорил резкостей и негодований. «Медленно каплет чернильный яд» — но нигде «уксуса», «рванул», — *жизни*.

«И вот *завыл волком*» (Белинский о себе, о своем «Письме к Гоголю»): этого *ни о чем у себя* не мог бы сказать С-в. У него вез-

де звон фразы, щелканье фраз, силлогизмы. Точно *не течет речь* (= кровь), а речь — *составлена из слов*. «Слова» же он знал, как ученый человек, прошедший и университет и Дух. академию. Соловьев усвоил и запомнил множество слов, русских, латинских, греческих, немецких, итальянских, лидийских, — философских, религиозных, эстетических; и из них делал все новые и новые комбинации, с искусством, мастерством, талантом, гением. Но *родного-то* слова между ними ни одного не было, все были чужие...

И он все писал и писал...

И делался все несчастнее и несчастнее...

Нет, господа: о нем надо петь панихиды. «Нашими простыми умиленными русскими голосами». С пра-тадь-яконом. В прото-дьяконе — вот в нем уж есть ВЕС. «Это-с не из спиритического сеанса».

ИЗ КНИГИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗГНАННИКИ»

<Соловьев> весь был блестящий, холодный, стальной. Может быть, было в нем «божественное», как он претендовал, или, по моему определению, глубоко демоническое, именно преисподнее: но ничего или очень мало в нем было человеческого. «Сына человеческого» (по житейскому) в нем даже не начиналось, — и казалось, сюда относится вечное оплакивание им себя, что я в нем непрерывно чувствовал во время личного знакомства. Соловьев был странный, многоодаренный и *страшный человек*. Несомненно, что он себя считал и *чувствовал выше* всех окружающих людей, выше России, ее Церкви, всех тех «странников» и «мудрецов Пансофов», которых выводил в «Антихристе» и которыми стучал, как костяшками, по шахматной доске своей литературы... Пошлое, побежавшее по улицам прозвище его «Антихристом», красивым брюнетом Антихристом, не так пошло и, собственно, сказало в улице под neodолимым впечатлением от личности и от всего в совокупности... Он, собственно, не был «запамятовавший, где я живу», философ; а был человек, которому с человеками не о чем было поговорить, который «говорил только с Богом». Тут он невольно пошатнулся, т. е. натура пошатнулась его в сторону «самосознания в себе пророка», которое не было ни деланным, ни притворным. <...>

